

Юлианна
ШИЛЛЕР

БЕЖАТЬ БЕССМЫСЛЕННО.
ХИЩНИК ВСЕГДА НАСТИГАЕТ СВОЮ ДОБЫЧУ

ХИЩНИК

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

#ОДЕРЖИМОСТЬ

18+

Юлианна Шиллер
Хищник #Одержимость
Серия «Хэштегнутые»

<https://litres.ru/74450682>

SelfPub; 2026

Аннотация

— Хорошая, — цедит, зажав меня в простенке между зеркалом и стеной. Два пальца под подбородком запрокидывают мне лицо, как лошади на смотринах. — Хорошая игрушка досталась братцу.

— Осторожнее, Демид Аркадьевич. С чужими игрушками ломают руки.

Зрачок заливает лёд его радужки. Я только что укусила волка, только вот он не разозлился, а... заинтересовался?

— Ты моего брата любишь? — спрашивает буднично, будто про погоду.

— Нет, — выпаливаю, не подумав.

— Тогда игрушка ничья...

Содержание

Глава 1	4
Глава 2	21
Глава 3	27
Глава 4	35
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Юлианна Шиллер

Хищник #Одержимость

Глава 1

АРИНА

По телевизору бесстрастный голос диктора роняет слово «убийство» так же ровно, как прогноз погоды. Застываю с чашкой в руках, вслушиваюсь в шелест ведущего про очередное тело из Обводного канала и понимаю страшную вещь: у меня внутри не шевелится ничего. Ни ужаса, ни жалости, ни того липкого холодка, который в норме положен любому человеку из мира, где такие слова означают трагедию. Для меня они означают вторник. Или четверг. Или воскресный обед в родительском доме, где на плите томится телятина, а в гостиной обсуждают мою свадьбу с младшим Стужевым, точно у меня хоть кто-то хоть раз спрашивал согласие.

Кухня пахнет розмарином и лимонной цедрой, и от этого пряного, домашнего запаха скручивает нутро. Вцепляюсь в фарфор, пальцы ноют от хватки. На безымянном пальце левой руки светится тонкий зеленоватый ободок, въевшийся в кожу за те месяцы, пока я не научилась прятать. Мед-

ное колечко теперь висит под тонкой майкой, на цепочке, и его крошечная тяжесть касается кожи между грудей, нагретая моим собственным телом, почти живая. Единственная вещь в этом доме, которая принадлежит только мне.

С экрана диктор переключается на прогноз. Питеру обещают белую ночь и мелкий дождь. Выключаю звук.

Из гостиной приглушённо гудит бас дяди Марата, поверх ложится смех дяди Феди, а мать вплетается высоким серебряным колокольчиком, отрепетированным для случая. Обсуждают меня и Глеба, примеряют к пригласительным формулировку «союз двух домов», словно готовят свадьбу из красивого романа, а не сделку, в которой я значусь строкой расхода.

— Ариша, — мать возникает в дверях, шёлковый халат струится по её ключицам, — ты почему как в воду опущенная? Улыбку, солнце моё. И к столу.

— Иду, — ставлю чашку на мрамор осторожно. — Ещё пару минут.

— Никаких минут, — подходит, пахнет туберозой и «Каберне», хотя обеда ещё нет. Поправляет мне выбившуюся прядь за ухо. — И без вот этих твоих трагедий. Не позорь нас позоришь, Арина.

Проглатываю то, что рвётся: что мне двадцать один, что меня не спросили, что я живой человек, не блюдо под серебряной крышкой. Проглатываю, потому что научилась. После того, что случилось год назад, любое моё «нет» в этом до-

ме читается как заговор. Девочка, которая однажды сбежала, навсегда останется девочкой, за которой нужно ходить хвостом.

— Кстати, — мать роняет между делом, поправляя на мне тонкую розовую бретель, — старший не приедет. Так что можешь выдохнуть.

Слово «старший» она произносит тем нарочито будничным тоном, каким в этом доме маскируют страх. Одного тона хватает, чтобы понять: все боятся именно его. Не моего отца, который держит порт. Не дядю Марата, у которого рука не дрогнула ни разу. Того, чьё имя за столом произносят непозволительно редко. Хищник, Стужа, глава, которому мой отец протягивает дочь, как визитку, но выбирает для меня обложку помягче — младшего брата.

— И слава богу, — отзываюсь ровно.

Мать награждает меня одобрительным полукивком и уплывает обратно, а розовый шёлк её халата мягко ловит свет.

В гостиной кто-то выдыхает сквозь смех:

— Да ладно, дядь Паш, Тёплая нам достанется в любом случае. Вопрос только в упаковке.

По коже проходит короткая горячая волна, словно меня хлестнули полотенцем, а слово «Тёплая» ползёт по позвоночнику липким пальцем, вслух почти ласковое, как имя из детской, но между этими мужчинами оно приобретает совсем другое дно, превращая меня в самую горячую невесту

на выданье, хорошо прогретую, чтобы удобнее было есть. Внутри всё стягивается в тугую ком, и я тихо ставлю чашку в мойку, крадучись мимо собственной жизни, пока пульс злобно отстукивает в ушах.

И в этот момент в фойе открывается красная дверь.

Узнаю её по звуку раньше всего остального. Тяжёлая дверь особняка, обитая изнутри кожей, при открывании издаёт короткий, влажный вздох. Именно вздох, и дом сам отступает на шаг.

Голоса в гостиной обрываются на полуслове. Кто-то роняет бокал, стекло коротко звякает о блюде. В коридоре тяжело переступает охрана, под чьим-то ботинком скрипит паркет там, где обычно никто не встаёт. Дядя Марат бросает глухо через всю гостиную:

— Паша, — одно слово, которое хлещет предупреждением.

Пришёл кто-то, кого не ждали.

И тогда звучит он.

— Павел Григорьевич, — голос низкий, ровный, без единой лишней ноты. Такой голос не повышают, потому что незачем. Такой голос не подделаешь.

Живот проваливается вниз одним рывком, и я вцепляюсь пальцами в край столешницы, пока знакомая паника карабкается по позвоночнику привычным, отработанным за сотни сеансов у психолога маршрутом, только сегодня к ней пришеивается кое-что совсем чужое, чему здесь точно не ме-

сто. Жаркое, постыдное, тянущее вниз, ниже пупка, острым спазмом между бёдер, и в ту же секунду, неотделимо от этого жара, медное колечко у ключиц наливается свинцовой тяжестью и вдавливается в грудную кость с одним отчётливым приказом не сметь, только не это и уж точно не после того, что стало с ним.

Пальцы на столешнице немеют. По внутренней стороне запястья пробегает мелкая дрожь, зрение стягивается в узкую воронку, звон в ушах вползает высокой, тонкой нотой. Приказываю себе: вдох на четыре, задержка на четыре, выдох на восемь. Один цикл. Два. Звон отступает на полтона.

Отпускаю мрамор. Провожу ладонью по бедру, разглаживая розовую юбку. Пальцы находят цепочку у ключиц, коротко нажимают на медное колечко под тканью. Прости, шепчут одни губы — не тому, кто стоит в фойе, а тому, кого больше нет. Тому, чьи пальцы скрутили мне это кольцо из обрезка медной проволоки в подсобке автомойки, пока я смеялась над тем, какое оно кривое. Он умер, потому что я захотела быть свободной.

Шагаю в коридор.

Он оказывается длиннее обычного. Чёрно-белый пол уплывает под ногами шахматными квадратами, и я иду по канату, с усилием переставляя ноги. В фойе горит верхний свет, отчего кожа у всех выглядит на тон бледнее. У арки гостиной застыл дядя Марат, скрестив руки, взгляд его маятником скользит от двери к отцу. Отец стоит вполоборота,

широкий, тяжёлый, в домашней рубашке с расстёгнутым воротом, и в его развороте сквозит то, чего он никогда не позволяет себе при обычных гостях: расставленные ноги чуть шире, словно он готов либо ударить, либо заслонить. Рядом, вплотную к двери, нарушая гостевую дистанцию, стоит он.

Первое, что цепляет глаз: он выше отца на полголовы, при том что мой отец совсем не низкий. Второе: он блондин. В голове почему-то я представляла его тёмным, гладким, точно чёрный автомобиль. А здесь светлые волосы, коротко подстриженные по бокам, чуть длиннее сверху, словно выгоревшие на солнце. Загар цвета песка, из-под чёрного рукава, закатанного к локтю, ползут плотные татуировки: волчьи линии, геометрические паттерны, ряды цифр. Пальцы правой в старых белых шрамах. Руки, привыкшие к холоду оружия.

И глаза.

Такого цвета не бывает у людей. Не голубые. Цвет талого льда. Прозрачные, с холодной подсветкой изнутри.

На первом моём шаге в фойе эти глаза проходят по мне, как по мебели: коротко и оценивающе. Невеста брата, элемент обстановки, не более. Он уже отводит взгляд обратно к отцу, и я почти успеваю выдохнуть, потому что быть невидимой для такого человека означает быть в безопасности.

А потом он останавливается.

Делаю второй шаг, и его зрачки возвращаются. Медленнее. Иначе. Взгляд фиксируется, как механизм прицела, нашедший цель. Поворот головы запаздывает на долю секун-

ды, как у зверя, который ещё не решил, двигаться ли, но уже понял, что добыча перед ним. Мышца на его скуле натягивается. Зрачок расплывается, затапливая лёд радужки.

Третий шаг. Он полностью разворачивается ко мне корпусом. И этот разворот выглядит так, будто дом только что перестал быть моим.

— А вот и она, — голос отца привычно хозяйский, но я в жизни не ловила в нём такой осторожности. Мой отец в собственном фойе осторожничает. — Демид, знакомься. Моя дочь. Арина.

— Арина Павловна, — Демид не отводит от меня глаз. — Так вежливее.

Голос его вблизи оказывается ещё ниже, ещё ровнее. Склоняю голову, натягивая на лицо ту самую улыбку, тренированную перед зеркалом, лёгкую, воспитанную, без зубов.

— Здравствуйте, — протягиваю ладонь. Правила приличия, ничего личного.

Он берёт её.

Пальцы обхватывают мои с той мерой силы, при которой ещё не больно, но уже понятно, что больно может стать в любой момент, и это зависит исключительно от него. Под большим пальцем нащупываю гладкий рубец, идущий поперёк всей его ладони. Его кожа теплеет от моей. Стужев. Лёд. А я его грею, и от одного этого внутри всё стягивается в жгут.

Он опускает взгляд на наши руки.

— Мы уже встречались, — роняет он спокойно, обраща-

ясь скорее к отцу. — Правда, Арина Павловна?

На секунду перестаю дышать.

Мы не встречались. Никогда. Я запомнила бы эти глаза. Запомнила бы эту руку. Запомнила бы этот голос, потому что такой голос забыть невозможно даже под наркозом.

Он врёт. Спокойно, чисто, глядя мне прямо в лицо.

Отец медленно переводит взгляд на меня. Не тот взгляд, которым он смотрит на гостей. Другой. Тяжёлый, ищущий, с холодком, который я помню с семи лет, когда на моих глазах кухонный нож отделил чужой палец от руки. Так он смотрит, когда решает, кого сегодня простить, а кого нет. Он не просто проверяет, вру ли я. Он проверяет, откуда Демид Стужев знает его дочь. И в этом вопросе спрятан другой, страшнее: не зря ли он затевал всю эту историю с младшим братом, чтобы старший к ней не приблизился на пушечный выстрел.

Марат в углу подаётся вперёд.

Проблема в том, что сказать «нет» я не могу. Назвать Стужева старшего лжецом при собственном отце значит устроить скандал уровня третьей мировой. А после моего прошлогоднего побега любое моё «нет» в этом доме читается через один трафарет: дочь опять скрывает, опять врёт, опять готовит очередную глупость. Меня уже поймали на одной лжи. Второй мне не простят.

Он захлопнул ловушку одной фразой. Привязал меня к себе при свидетелях, создал между нами общую тайну, которой не существовало, и я подыграла. Его сообщница, хочу

того или нет.

— Возможно, — выдавливаю, и шею, скулы заливает жаром. — Питер маленький.

— Очень, — краешек его рта приподнимается на миллиметр. — Особенно для тех, кто любит от него бегать.

Внутри всё вспыхивает. Он знает про побег. Разумеется, знает. В этом городе про меня знают всё, включая размер обуви и то, какую зубную пасту я предпочитаю по утрам. Просто до сих пор никто не решался говорить об этом мне в лицо. И уж точно никто не решался говорить об этом при моём отце.

Поднимаю на него взгляд. Улыбка на моих губах не двигается, но глаза, знаю сама, меняются. Отвечаю прежде, чем успеваю себя остановить.

— Иногда полезно пробежаться. Хотя бы для того, чтобы понимать, от чего именно бежишь.

Тишина растягивается на две-три секунды.

Отец рядом не хмыкает. Не кивает. Челюсть его чуть каменеет, взгляд перескакивает с меня на Демида, с Демида на Марата, и произносит он с отработанным спокойствием, как произносят «отбой» после ложной тревоги:

— Прошу к столу. Лариса ждёт, — отец перехватывает разговор за секунду до того, как он станет опасным.

Демид смотрит на меня ещё две секунды, и в этих двух секундах успеваю прочесть очень многое. Он услышал. Оценил. Запомнил. Теперь у меня проблема, потому что я, ка-

жется, только что укусила волка, и волк не разозлился. Волк заинтересовался.

Он всё ещё не отпустил мою руку.

— Приятно наконец-то побывать у вас дома, — большой палец его ладони медленно проходится по костяшкам моих пальцев. — И познакомиться с будущей невесткой официально.

Отнимаю ладонь. Прижимаю её к бедру, вытирая, и сразу ненавижу себя за этот жест, потому что он видит и снова приподнимает край рта.

Из гостиной наконец выходит Глеб. Мой без пяти минут жених. Мягкий, симпатичный, светлый, с добрыми глазами и не самой уверенной осанкой. Смотрит на брата с тем особенным выражением, с каким смотрят на старших, у которых лучше не спрашивать, где они провели ночь. Обходит меня стороной, кладёт Демиду руку на плечо.

— Ты приехал, — в голосе Глеба разом облегчение, досада и «зачем же ты приехал».

— Приехал, — отзывается Демид коротко, но глаза его на секунду скользят обратно ко мне. — Захотелось глянуть на невесту брата. По-родственному.

«По-родственному». Как же...

Пальцы мои сами собой тянутся к ключицам, нажимают на выступающий под тканью кружок. Медное колечко утыкается в кость, и мысленно прошу его: не дай мне здесь задохнуться, только не при нём. Моё тело уже предало одного

человека. Хватит.

Демид фиксирует движение. Разумеется, фиксирует. Взгляд его на десятую долю секунды опускается к моей ключице, к тонкой цепочке, скрытой под розовым, и возвращается к моим глазам. Этой десятой доли секунды хватает, чтобы под его взглядом с меня слетела вся одежда, вся улыбка, вся выдрессированная светская оболочка, до самой кости.

Все двигаются в столовую. Глеб первым, отец за ним. Марат, замыкая, бросает на Демиду предупреждающий взгляд. Демид пропускает меня вперёд, и я иду, лопатками ощущая его тяжёлое присутствие за спиной.

У самой арки делаю шаг в сторону, к узкому простенку между гостиной и дверью в отцовский кабинет, где стоит старинное трюмо и мраморный столик с телефоном. Три секунды. Ровно три секунды, чтобы поймать в зеркале собственное лицо и убедиться, что оно ещё моё. Прижать ко лбу тыльную сторону запястья и опустить пульс с четырёхсот до удобоваримого.

Простенок оказывается ловушкой.

Демид входит следом. Беззвучно: дом словно привычно расступается под его шагом. Голоса семьи уже погружаются вглубь столовой, стелется звон приборов о фарфор, и вся эта звуковая штора отделяет наш угол от остального мира двумя короткими метрами и одной аркой.

Спина упирается в холодные обои с тиснением. Мрамор столика утыкается в поясницу слева, зеркало трюмо ловит

уголком его силуэт справа. Он не хватает меня, не толкает. Просто ставит одну ладонь на обои над моим плечом, широко, с белыми шрамами по костяшкам.

Другая его рука поднимается лениво, точно впереди у нас целый вечер, не украденные секунды. Два пальца ложатся мне под подбородок. Приподнимают. Так приподнимают морду лошади на смотринах, когда хотят рассмотреть зубы и глаза.

Голова моя послушно откидывается назад, потому что тело быстрее меня. Затылок мажет по обоям, шея вытягивается в неудобную длинную линию, и я оказываюсь перед ним, как на витрине, с пульсом, который колотит ему в большой палец на самом краю моей челюсти.

Стужев старший рассматривает меня, не торопясь.

Прозрачные глаза цвета талого льда проходят по мне сверху вниз с хозяйской ленью, с какой оценивают породу. Разрез моих век, линия скулы, ямка на шее, где пульс выстукивает стыд. Розовая бретелька, соскользнувшая с плеча, пока я шла. Тонкая цепочка, ныряющая под ткань. Талия, бедра и обратно к горлу.

Ноздри его едва заметно расширяются, ловя запах. От меня пахнет лимоном для рук и туберозой, оставшейся после материнской ласки. От него — холодной кожей курткой, машинным маслом и чем-то горько-древесным, дорогим. Ловлю этот запах хищника, и голова начинает кружиться. Так пахнет опасность.

— Хорошая, — роняет он наконец, тише шёпота, только между нами двумя. Пальцы под моим подбородком чуть поворачивают мою голову вправо, потом влево, проверяя постановку. — Хорошая игрушка досталась братцу.

Внутри разливается чистая ярость. Рот наполняется горькой слюной, и хочется собрать её всю и плюнуть ему в это спокойное, невозможно красивое, невозможно наглое лицо. Целиться в переносицу. В левый глаз. В край этого рта, который только что назвал меня игрушкой. Пусть моргает. Пусть стирает. Пусть на мгновение перестанет быть тем, кто держит меня за подбородок в моём доме.

Мышцы шеи напрягаются. Челюсть под его пальцами дёргается. Не плюю. Улыбаюсь. Той самой отрепетированной улыбкой.

— Осторожнее, Демид Аркадьевич, — отвечаю на удивление ровно, глубже обычного, чуть охрипнув от того жара, что расплзается по телу от его близости. — С чужими игрушками ломают руки.

Пальцы его не двигаются. Улыбка на его губах остаётся точно такой же. Только зрачок чёрным пятном заливают радужки, и по мышце скулы проходит короткая, ленивая волна, как у зверя, которому только что подкинули в клетку живую, брыкающуюся жертву.

— С чужими, — наклоняется на полсантиметра ближе, и его дыхание касается моей нижней губы теплом. — С чужими, Арина Павловна, я осторожен. Разве что здесь вопрос

ещё открыт. Ты моего брата любишь?

Роняет это буднично, словно спрашивает время.

— Нет, — высказывает.

Зрачок в его радужке разливается ещё больше.

— Тогда игрушка ничья.

Большой палец его руки лениво проходит по нижней линии моей челюсти, вниз, к самой яремной ямке, и на долю секунды нажимает туда, где под тонкой розовой тканью тянется цепочка. Он находит колечко под майкой. Разумеется, находит. Кружок меди отзывается тупым уколом в грудную кость, и тело в этот момент отзывается коротким, острым, предательским спазмом. Зажмуриваюсь.

— И что ты прячешь под одёжками, Тёплая, — задумчиво, для себя, говорит он.

«Тёплая». В его исполнении прозвище теряет сальную поволоку. Ноги становятся ватными, пальцы скользкими от пота. Я уже ненавижу его!

Открываю глаза. Смотрю ему в лицо снизу вверх, потому что его пальцы всё ещё держат мой подбородок в этом унижительном, оценивающем наклоне. Собираю всё, что во мне есть, в один тонкий, жёсткий шёпот:

— Уберите руку.

Он не убирает.

Держит её ещё одну лишнюю секунду. Именно такую, чтобы стало ясно: убирает он её по собственному решению, безо всякой связи с моей просьбой. И только потом два пальца

скользят по коже вниз, отпуская челюсть, спускаясь на ключицу, и на короткий миг ложатся плашмя на цепочку. Медь под пальцем нагревается сквозь ткань, и эта точка жжёт всю грудную клетку, впечатывается клеймом.

Ладонь его от обоев над моим плечом уходит последней.

— Приятного аппетита, невеста брата, — делает шаг назад. Всего один. Достаточный, чтобы я снова начала помещаться в коридор.

Из столовой мать негромко зовёт:

— Ариша, ты где застряла?

— Иду, мам, — отвечаю ровно, по-домашнему, как девочка, задержавшаяся у зеркала. Актриса из меня, оказывается, не худшая в городе.

Демид отступает ещё на полшага, пропуская меня из простенка обратно в фойе. У самой арки он вдруг оказывается совсем близко, наклоняется на пару сантиметров, и голос его соскальзывает мне прямо в ухо, тише шёпота:

— Ты, кстати, отвратительно врёшь, Арина.

Не оборачиваюсь. Не могу. Держусь на одних мышцах танцовщицы, вбитых в тело годами у станка.

— Учту, — выдыхаю в сторону.

— Учти, — и, помедлив, добавляет, пробуя на вкус: — Арина.

Моё имя в его исполнении звучит как обещание.

Иду в столовую, сажусь на своё место рядом с Глебом, разворачиваю на коленях салфетку и за весь этот бесконечный

месяц радуюсь чему-то только сейчас: что под венец мне идти именно с младшим. С мягким. С безопасным. С тем, у которого добрые глаза.

Глеб коротко кланяется мне, почти по-дружески, и рука его случайно задевает мою на скатерти. Ничего не щёлкает. Никаких эмоций.

И только когда поднимаю бокал воды, чтобы смочить пересохшее горло, до меня доходит простая вещь. Старший брат уже сидит напротив. Смотрит поверх своего бокала. Между нами скатерть, три блюда, одно короткое «нет» про Глеба.

И, судя по тому, как неподвижно он держит взгляд, он для себя уже всё решил.

Улыбаюсь привычной улыбкой. Подношу бокал к губам. Смотрю ему в глаза поверх кромки стекла.

И наконец понимаю, что означает выражение «попасть в поле зрения хищника».

Книга участвует в Литмобе ["Хэштегнутые"](#)

Однажды в их жизни появится самый настоящий ред флаг. И тогда встанет выбор: оттолкнуть его или податься.



Глава 2

АРИНА

Демид расстёгивает вторую пуговицу на чёрной рубашке, ленивым движением, точно у себя дома, откидывается на спинку и находит меня глазами поверх бокала. Прозрачные, светлые, цвета талого льда. Отвожу взгляд первой, и с этой секунды в столовой больше нет ни одного безопасного направления, куда можно смотреть.

По правую руку от отца рассаживаются Стужевы: Демид, его двоюродный, мелкий, жилистый, с тонким шрамом через бровь, которого называют Родионом, и Глеб. По левую наши: мама, дядя Марат, Антон, бабушка Тамара, дядя Федя. Ника нашла себе повод сбежать в театр, за что я на неё в эту минуту почти зла: одной живой души за этим столом мне не хватает как воздуха.

Родион осушает уже второй бокал за какие-то пять минут, и его тонкие пальцы подрагивают едва заметно, пока он трижды поправляет манжет с таким видом, словно под белым льном ползает по коже мошка. Взгляд Демида скользит сначала по руке кузена, потом по бокалу и наконец останавливается на скуле, дёргающейся тиком, а сами глаза при этом остаются неизменными, хотя зрачки холодеют ещё на градус.

Мать поднимает бокал.

— За союз наших домов.

Десять бокалов поднимаются одновременно. Мой запаздывает.

— За детей, — вставляет бабушка Тамара сухо, разглядывая жаркое как расклад карт. — Особенно за тех, кто до свадьбы доживёт.

У мамы вырывается короткий смешок, который повисает в тишине, потому что никто из сидящих за столом его не подхватывает.

Антон, мой старший брат, отпивает залпом. Ставит бокал, и вино плещет на скатерть красной кляксой. Его взгляд последние двадцать минут пришит к Родиону двумя гвоздями, и я знаю этот взгляд. Такой у Антона был осенью, когда его пырнули под рёбра в клубе, а виновных не нашли. Тогда он молчал, скрипел зубами и ходил по коридору дома с телефоном, повторяя одно и то же слово: «Стужевы». Сейчас он готов сорваться.

— Ариша, положи себе телятины, — мать вкладывает мне в тарелку кусок, будто мне восемь. — Ты бледная какая-то.

— Питер, — отзывается за меня Демид, не поднимая глаз от собственной тарелки. — От белых ночей все бледные.

Впиваюсь пальцами в вилку. Мать растерянно улыбается, не понимая, шутка это или укол, и на всякий случай смеётся вежливым смехом.

Делаю глоток воды из стакана, и колкие пузырьки режут язык. Пальцы левой руки машинально находят цепочку через ткань, надавливают на кружок меди у грудины, и по коже

расходится знакомый холодильник. Держись, Ариш. Час. Максимум полтора. Потом можно будет запереться в ванной.

Разговор ползёт по накатанной колее: порт, стройка на Крестовском, аукцион ретро-машин на прошлой неделе, куда Демид, оказывается, ездил и купил какую-то «Волгу» пятьдесят шестого года.

— Своими руками восстанавливать будешь? — вежливо спрашивает Глеб, отчаянно вытягивая брата на безопасную тему.

— Своими, — отзывается Демид невозмутимо, накладывая себе жаркое. — Салон перетягивать планирую. Вот думаю... Может розовой замшей? Есть у меня одна слабость к розовому.

Вилка в моих руках замирает на полпути. Отец на противоположной стороне наклоняет голову на полсантиметра, отмечая, что «розовое» в исполнении гостя прозвучало слишком точно.

Демид поднимает глаза от тарелки, и его долгий, лениво-хозяйский взгляд скользит прямо на меня, спускаясь от цепочки к соскам, натягивающим тонкую розовую майку. Под этим взглядом соски мгновенно твердеют, помимо моей воли, и я знаю, что он заметил, а он знает, что я это поняла. Он одобрительно опускает ресницы на полсантиметра и невозмутимо возвращается к жаркому.

Внутри всё сжимается в узел, выдавливая из лёгких последний воздух. Ненавижу его. Ненавижу собственное тело,

которое поддакивает ему через ткань.

— Кстати, — Антон подпирает щеку рукой, зрочки уже плавают в вине. — Демид Аркадьевич. У вас, у Стужевых, ведь как-то так принято: если своих не досчитались, других досчитывать пойдёте? Или у вас нынче другая мода?

Теперь над столом замирают вилки всех присутствующих. Демид не двигается. Только его большой палец медленно скользит по краю бокала, вдоль и обратно, вдоль и обратно, и от этого маленького, механического движения по коже расползается влажный холод.

— Антон, — предупреждающе роняет отец.

— Пап, я просто интересуюсь. Родион, скажи. Ты же в конце апреля был в «Волчьем»? Ну, когда там... как его? А! Славика нашли. У мусорных баков.

Родион поднимает голову. Медленно.

— Не помню такого.

— Как не помнишь, — Антон вытирает угол рта салфеткой с той обманчивой ленью, с какой в этом доме предвзвешивают скандал. — Славик. Крепкий парень. Работал на дядю Марата, потом ушёл к вам. Сколько ему было, лет двадцать? Двадцать один? Жалко пацана.

Родион аккуратно кладёт вилку. Ноздри у него раздуваются.

— Ты бы, Тёплый, не о чужих трупах говорил за столом. О своих подумай. Всех же не упомнишь, а всё-таки родная кровь.

— Родион, — тихо, почти на выдохе, произносит Демид.
— Хватит.

Тик на скуле кузена дёргается сильнее.

Антон подаётся вперёд. И встаёт. Резко, стул за его спиной летит на плитку с деревянным треском, а рука уходит под пиджак. Родион срывается первым: его тонкие пальцы ныряют под лацкан, и в них тут же оказывается вороняя сталь. Ствол вздёргивается через стол, минует вазу с пионами и упирается чёрным кружком дула прямо мне в лицо.

Ноги подкидывают меня вверх сами. Стул подо мной ползёт назад с сухим скрежетом, ладони припечатываются к скатерти по обе стороны от тарелки, и я замираю над столом в полусогнутом положении, как животное, застигнутое фарами в лесу.

Всё останавливается.

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 18+

Дорогие мои!

Литмоб "ХЭШТЕГНУТЫЕ" набирает обороты.

И сегодня стартовала ещё одна новинка от [Лины](#)

[Мак](#)

[ДЕРЗКИЙ. #ПлохаяДевочка](#)

ЛИНА МАК

ДЕРЗКИЙ #Плохая—девушка

ОН – ДЕРЗКИЙ. ПАРЕНЬ, ОТ КОТОРОГО У ХОРОШИХ ДЕВОЧЕК ДОЛЖНЫ ВКЛЮЧАТЬСЯ ИНСТИНКТЫ САМОСОХРАНЕНИЯ. Я БЫЛА СЛИШКОМ ПРАВИЛЬНОЙ, ЧТОБЫ СМОТРЕТЬ В ЕГО СТОРОНУ. СЛИШКОМ ХОЛОДНОЙ, ЧТОБЫ ОТВЕЧАТЬ НА ЕГО НАГЛУЮ УЛЫБКУ. НО ОДНА ОШИБКА – И МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ВСПЫХНУЛА, КАК СПИЧКА. ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС НЕ В ТОМ, КТО ОН. А В ТОМ, КЕМ РЯДОМ С НИМ СТАНУ Я."

#ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ #ПРОТИВОСТОЯНИЕ И ПРИТЯЖЕНИЕ
#ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ



Глава 3

АРИНА

Мама вскрикивает, и звук тут же обрывается ладонью, которую она себе прижимает ко рту. Отец медленно поднимается. Дядя Марат уже на ногах, ствол в его руке смотрит Родиону в висок. Антон стоит с оружием, направленным туда же. Глеб замер, приподнявшись на пол-стула, лицо у него белое как скатерть, правая ладонь на полотне мелко, отвратительно дрожит. Бабушка Тамара продолжает сидеть, прямая как палка.

Чёрный кружок дула смотрит мне в переносицу, и в этом маленьком, идеально круглом отверстии уместается вся моя нелепая жизнь целиком. Меж лопаток становится мокро мгновенно. В горле будто застревает кость, отчего не получается и вдохнуть, ни выдохнуть.

— Пусть отойдут, — хрипит Родион через стол, и его тонкий голос дрожит на верхнем регистре. Кислый винный перегар долетает даже сюда. — Пусть все отойдут, или я её...

Он срывается. Сам не знает, что сделает. И именно незнание пугает сильнее всего.

Здравый смысл выключается, мир стягивается в узкую белую воронку, и в этой воронке остаётся ровно одно: чёрный рукав с волком на предплечье, лежащий на скатерти в полуметре от локтя Родиона.

Демид всё ещё сидит.

Он даже бокал не выпустил. Только глаза его меняют траекторию на чёрный ствол. Скула не дёргается. Ни одной эмоции, только пустота и мёртвый штиль. Холодный ужас расползается по моей коже, потому что я вдруг понимаю: сейчас в этом дворе кто-то решит, жить мне или нет, и решает не Родион.

На короткую секунду Демид переводит взгляд на меня, и в его глазах цвета талого льда я ясно читаю безмолвный, страшный приказ не двигаться и смотреть только на него, больше никуда. Смотрю не отрываясь.

— Родя, — произносит Демид спокойно, лениво, переводя взгляд на своего родственника. — Убери железо. Позоришься.

— Дёма, ты не видишь, они меня положат здесь же! Тёплый положит! Или отпустят её, или...

— Никто никого не положит. Три секунды. Опускай.

— Я...

— Раз.

Ствол напротив меня начинает мелко подрагивать в тонкой белой руке. Родион моргает часто, кадык дёргается вверх-вниз, палец на спусковом крючке белеет. Взгляд у него уже никуда не смотрит, он у него уплыл внутрь себя.

Не хочу.

Не хочу вот так. Не хочу тёплой телятины во рту, не хочу цепочки под майкой, не хочу медного колечка, чтобы оно

потом валялось в чужом пакете с личными вещами. Не хочу за Глеба. Не хочу вообще ни за кого.

И в эту секунду Демид роняет:

— Два.

Мир взрывается.

Никакого сухого щелчка, как в кино: оглушительный, разрывающий череп изнутри хлопок обрушивается на меня, будто по обеим ушам одновременно ударили молотом, и правое ухо тут же затыкает ватой пронзительного свиста. Одновременно с этим звуком, растворяющим все остальные, воздух над столом взрывается алым веером, и меня окатывает горячими, солёными, липкими каплями по правой щеке, по шее, по ключице и затекает под розовую бретель. Тонкая жилистая рука Родиона напротив меня уходит в сторону судорожным рывком, ствол пляшет и валится на скатерть, опрокидывая вазу с пионами, а сам он тяжело оседает набок на подлокотник соседнего стула, обхватив здоровой рукой правое плечо, из которого через пиджак быстро проступает пятно на чёрной ткани.

Стою с приоткрытым ртом, и на нижней губе горит солёная металлическая капля чужой крови той же медной ноты, что прячется у меня под майкой, и тонкий комариный свист заполняет правое ухо.

Демид уже опускает пистолет на скатерть рядом со своей тарелкой. Аккуратно, дулом от людей. Он даже не встал. Стрелял сидя, молниеносным движением руки в сторону,

почти не поворачивая корпуса, и я не понимаю, как он вообще успел поднять ствол, потому что секунду назад его ладонь ещё скользила по стеклу бокала. Тянет горячим, кисловатым жжёным порохом, перебивающим всё во дворе.

Смотрит на меня.

И только сейчас ледяная радужка оживает на миг: мгновенная тёмная волна проходит по зрачку и тут же уходит обратно под лёд. Он оглядывает меня всю, задерживается на брызгах у ключицы, на том месте, где красное впиталось и ткань намокла. Задерживается ниже, на груди, на тёмном расплзающемся пятне. Секунда. Две.

Он едва заметно тянет подбородок вниз на миллиметр, безмолвно отдавая приказ, которому невозможно противиться.

Медленно слизываю кровь с нижней губы вовсе не по собственной воле, потому что тело оказывается быстрее меня, а его взгляд не оставляет мне никакого выбора. На языке остаётся вкус меди.

Зрачок в его радужке разливается на всю ширину. И только теперь он отводит глаза.

За столом никто не дышит. Только Родион на своём стуле сдавленно, ритмично, по-собачьи скулит сквозь зубы и матерится сквозь скулёр, раскачиваясь взад-вперёд над коленями.

— Марат, — тихо роняет Демид. — Забери у него ствол, перевяжите наспех и грузите в машину.

Дядя Марат смотрит не на Демида. Он смотрит на отца. Отец коротко дёргает подбородком. Марат обходит стол. — Ты, — выхаркивает Антон, всё ещё не опуская оружия, — ты в своего... прямо здесь...

— В своего, — отзывается Демид тем же ровным тоном, каким предлагал матери отговорку про белые ночи. — Именно поэтому имел право. И, Теплов, ствол в моём направлении. Держи ниже.

Антон опускает пистолет на два пальца. Не больше. Хватает и этого.

Отец медленно поворачивает голову, обводит взглядом столовую и задерживается на Родионе, которого уже поднимают под локти двое молчаливых парней и уводят прочь, оставляя за ним неровный, тёмный, капельный пунктир.

— Демид, — произносит отец с домашней невозмутимостью, будто просит передать соль. Ловлю его слова глухо, сквозь вату, как из-под воды. — В моём доме?

— Знаю, Павел Григорьевич.

— Мы этот разговор продолжим. Позже. С глазу на глаз.

— Как скажешь.

Один взгляд. Демид принимает к сведению.

— Сядь, дочь.

Ноги подкашиваются, и опускаюсь на стул автоматически, как марионетка, которой дёрнули за нить.

— Лариса, — отец не меняет тона. — Скажи Гале принести десерт. Мы доедаем обед.

Мама смотрит на него безумными, распахнутыми глазами.

— Паша...

— Мы. Доедаем. Обед. Лариса. Десерт.

Мама встаёт. Идёт в дом на негнущихся ногах.

— Правильно, — сухо замечает бабушка Тамара, не поднимая глаз от скатерти. — Хорошая свадьба крови не боится.

Никто не отзывается. Через минуту в дверях появляется Галя с подносом, замечает мокрое пятно на полу напротив стола и деликатно, почти беззвучно роняет одну тарелку с меренгой, чтобы тут же поднять её вместе с осколками и молча расставить остальное перед нами. На моей тарелке лежит розовая, воздушная, совершенно идиотская меренга с клубникой.

Глеб трогает меня за локоть. Осторожно, будто я стеклянная.

— Ариш, — запинается, втягивает воздух. — Ты... у тебя тут... вот, дай.

Тянется к моему лицу белоснежным платком, извлечённым из нагрудного кармана, и рука его заметно дрожит, пока ткань подрагивает у самой моей скулы, а я успеваю подумать, что за последний год со мной не случилось ничего более доброго, более бесполезного и более выхолощенного, чем этот жест.

— Оставь, — доносится через стол ровное. — Она сама.

Глеб замирает с зависшей в воздухе тканью, а Демид, даже не поднимая глаз от тарелки, роняет своё распоряжение с ленивой властностью хозяина, и младший брат послушно складывает платок и опускает его обратно в карман с видом школьника, которому строгий учитель запретил тянуть руку.

Беру салфетку и медленно веду ею по щеке, по шее, по ключице, но руки едва слушаются. Влажная ткань скользит по коже ровно там, где секунду назад скользил его взгляд, и от этого совпадения по позвоночнику катится резкая горячая волна.

Беру ложку. Подношу меренгу ко рту. Жую. Крем скользит по нёбу приторным, взбитым облаком, ни сахара, ни ягоды на языке, только приторность. В оглохшем ухе тянется тонкая, монотонная, комариная нота, и я цепляюсь за неё: пока она тянется, всё остальное далеко.

Поднимаю глаза.

Демид спокойно ест, орудуя ложкой той самой руки, что секунду назад нажала на курок, в мою сторону даже не смотрит и упорно разглядывает собственную тарелку, а его молчание красноречиво само по себе, только я пока не могу разобрать, о чём именно оно говорит. Возможно, ему всё равно. Возможно, наоборот, ему настолько не всё равно, что он не позволяет себе поднять на меня глаза.

Не знаю.

Он стрелял ради меня? Ради дисциплины в собственной стае? Ради того, чтобы кузен не позорил его перед Тепло-

вым? Ради невесты брата, потому что нельзя допустить порчу товара?

Не знаю... Видимо он просто безумен.

Дорогие читатели!

Встречайте горячую историю от

Катерины Кит

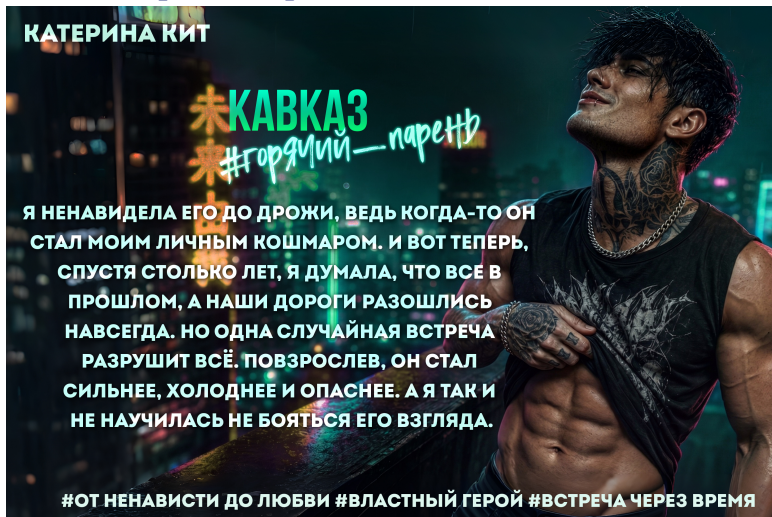
Кавказ #Горячий парень

КАТЕРИНА КИТ

КАВКАЗ
#Горячий — парень

Я НЕ НАВИДЕЛА ЕГО ДО ДРОЖИ, ВЕДЬ КОГДА-ТО ОН
СТАЛ МОИМ ЛИЧНЫМ КОШМАРОМ. И ВОТ ТЕПЕРЬ,
СПУСТЯ СТОЛЬКО ЛЕТ, Я ДУМАЛА, ЧТО ВСЕ В
ПРОШЛОМ, А НАШИ ДОРОГИ РАЗОШЛИСЬ
НАВСЕГДА. НО ОДНА СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
РАЗРУШИТ ВСЁ. ПОВЗРОСЛЕВ, ОН СТАЛ
СИЛЬНЕЕ, ХОЛОДНЕЕ И ОПАСНЕЕ. А Я ТАК И
НЕ НАУЧИЛАСЬ НЕ БОЯТЬСЯ ЕГО ВЗГЛЯДА.

#ОТ НЕАВИСТИ ДО ЛЮБИ #ВЛАСТНЫЙ ГЕРОЙ #ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ВРЕМЯ



Глава 4

ДЕМИД

Отодвигаю стул беззвучно, кладу салфетку рядом с тарелкой и поднимаюсь так, как встают из-за карточного стола, забрав всё. Павел провожает меня тяжёлым взглядом поверх ложки, и в этом взгляде уместается всё сразу: и «мы ещё поговорим», и «уйди, пока я не решил обратное», и та старая отцовская жадность до дочери, которую он готов отдать любому, но только не мне.

— Подышу, — роняю в сторону скатерти. — С разрешения хозяев.

— Разрешаю, — отзывается Павел ровно, будто я спрашивал соль.

Прежде чем шагнуть, взглядом соскальзываю на неё. Сидит очень прямо. Ложка идёт ко рту механически, десерт разжёвывает, не чувствуя, а на нижней губе у неё, справа, крохотный тёмно-красный след. Никто не сказал ей вытереть. Никто, кроме отца, ей вообще ничего не говорит.

Опускаю подбородок на миллиметр, ловлю её взгляд, коротко провожу большим пальцем по своей губе: вот здесь, сотри у себя. Она сначала не понимает. Потом догадывается: розовый кончик языка выныривает и слизывает капельку одним быстрым движением. И на этом движении она вспыхивает до самой ключицы, до тонкой цепочки, ныряющей под

ткань.

В штанах становится тесно за одну секунду. Сразу, минуя стадию «пошевелилось» и «намёк»: полноценный, чугунный, взрослый стояк на девчонку, которую я знаю сорок минут и которая должна пойти под венец с моим младшим братом.

Отвожу глаза. Иду через гостиную, мимо камина, мимо чёрно-белого шахматного пола. Тяжёлая дверь, обитая изнутри тёмной кожей, у порога влажно вздыхает при открытии, и в этом вздохе мерещится облегчение: то ли моё, то ли самого дома, который наконец избавляется от одного нежеланного гостя.

Двор глотает меня жарким полднем.

Гравий хрустит под подошвой, ползёт под ноги мелким белым крошечкам, и от белых камней больно бьёт в глаза. Под старыми соснами лежат плотные, чёрно-зелёные тени. Наши вычищенные машины стоят у ворот в ряд, и «Мерседес» Родиона узнаётся сразу по идиотским хромированным заглушкам, которые он выпросил у меня месяц назад с видом мальчика перед Дедом Морозом. Мальчик, который сегодня наставил на женщину заряженный ствол в чужом доме. Наш мальчик. Наша, блядь, семейная гордость.

Двое парней подводят Родиона к чёрному внедорожнику, где он уже успел сбросить пиджак, оставшись в рубашке, потемневшей и намокшей справа до самого локтя, а лицо его совсем побелело, губы посерели, кадык рывками ходит по

горлу. Наткнувшись на меня взглядом, он приоткрывает рот.

— Дёма...

— Молчи, — говорю тихо. — Ещё одно слово, и прострелю второе.

Замолкает и резко дёргает подбородком, но за долю секунды до этого по его лицу успевает проскользнуть выражение, какого я раньше за ним никогда не замечал: липкий блеск, тот самый взгляд, каким смотрят на кредитора, запоминая, кому и сколько должны. Отмечаю всё это уголком сознания и убираю в дальний ящик памяти, чтобы разобраться позже. Мёртвых кузенов у меня и без него хватает.

Его аккуратно грузят на заднее сиденье, чтоб не запачкал салон, и всё это происходит с той бесшумной сноровкой, с которой в этом городе давно научились убирать чужой мусор.

Достаю из кармана пачку. Извлекаю сигарету двумя пальцами, кручу её между костяшкой и подушечкой большого. Не поджигаю. У меня простое правило, вбитое ещё батей: потянулся к дыму, значит, тебя выбило. Сегодня меня выбило. Признаю это, глядя на белый цилиндр в руке, и от признания под грудиной ворочается знакомый, застарелый холод.

Щёлкаю зажигалкой. Тяжёлое серебро, гравировка волка на боку, привычная тяжесть в ладони: единственное, что сейчас на своём месте. Затягиваюсь глубоко, до самого дна. Дым проскальзывает в лёгкие с горькой, аптечной ноткой, кото-

рая мгновенно возвращает в прошлое.

Батю моего звали Аркадий Никифорович Стужев, и первый свой урок я получил от него в одиннадцать лет вместе с глухим ударом костяшкой под ребро и ровным голосом сверху: «Стужевы платят за горячку кровью. Запомни». Ему было тогда сорок, а моё ребро срасталось после этого удара три месяца, только я не заплакал ни разу, потому что плакать в нашей семье считалось позорнее самой крови. Так я и заучил намертво, что горячка стоит крови. Родион сегодня наплевал на это правило и получил своё в плечо, хотя мог бы получить и в лоб, только я не позволил себе такой роскоши, потому что он мне ещё пригодится.

Затягиваюсь ещё раз, и в голове, где сейчас должно бы стоять простреленное плечо родственника, стоит совсем другое.

Розовая бретель, сползшая с плеча на два сантиметра, и под ней ключица, острая, как у балерины, и синеватая жилка, идущая к горлу. Соски, натянувшие тонкую майку двумя точками, когда я обронил про розовую замшу для «Волги»: заметно с моего края стола, заметно ей, заметно, сука, всему тому же столу, если бы не пионы в вазе. Цепочка, уходящая в вырез, туда, где начинается ложбинка. Её пульс, ходивший под моим большим пальцем, когда я в фойе, у самой стены за портьерой, за спинами наших семей, поймал её за подбородок и негромко спросил про Глеба.

И она, дура наивная, ответила «нет» слишком быстро,

слишком чётко, без «ну как бы», без положенных девичьих оговорок.

А потом, отдёргнув свою челюсть от моей руки, тихо процедила сквозь зубы, что с чужими игрушками ломают руки, и в этой короткой фразе двадцатилетней девчонки клокотала такая ярость, что еёхватило бы поднять на воздух половину особняка.

Мать твою.

Веду подушечкой по губе, будто стираю с себя её ответное движение за столом, тот быстрый язык. В паху сидит тупая, тяжёлая, знакомая штука, бьющая ниже пояса всегда не вовремя и всегда точно в цель, только сегодня она не проходит от «сосредоточься», не проходит от «работа». Двадцать восемь лет, а тело реагирует, как у пацана после первой драки, у которого от адреналина стоит на всё подряд, и стоит мне закрыть глаза, перед веками сразу: бретель сходит с её плеча вторым сантиметром, потом третьим, как я поддеваю пальцем цепочку у ключицы и медленно тяну, вытаскивая на свет то, что там у неё висит и что она так суетливо прячет от всех.

Только адреналина мне сегодня отсыпали лишку не из-за Родиона.

Ствол, повёрнутый ей в лицо, не прошу никогда. И вот эта разница внутри, между «плевать на своего» и «сдохни за одно движение в её сторону»: самая опасная штука, что случилась со мной за последний десяток лет.

Заочно я её презирал.

С того дня, как Павел на встрече в ресторане дяди Феди пододвинул мне через стол папку и произнёс: «Дочка. Двадцать один. Твоему Глебу в пару». Я даже фотографии не открыл. Отодвинул папку Лёве, бросил: «Пусть смотрит Глеб». Вежливость ни при чём: тепловская дочка мне тогда виделась стандартным набором из розового, хихиканья, длинных ресниц, идеального маникюра, папиной слепой любви и отсутствия мозга. Товар из витрины «дочь авторитета». Ноль интереса.

А сегодня «товар» огрызнулся мне, и я чуть не рассмеялся вслух: за последние недели ни разу не тянуло на смех.

И это, если разобраться, вообще не моё, блядь, дело.

За спиной хрустит гравий.

— Куришь, — констатирует Лёва, занимая место на полшага позади меня, именно там, где по нашей внутренней геометрии полагается стоять двоюродному брату и правой руке.
— Значит, весело у нас.

— Стервозно, — отзываюсь. — Родион как?

— Едет. Тепловские пропустили без вопросов, наш врач уже в дороге к клубу.

— Пусть штопает и не колет ничего сильного. Пусть чувствует.

— Ага, — Лёва достаёт свою пачку, закуривает. Дым у него пахнет мятой, потому что он, идиот, курит какую-то заграничную дрянь с ментолом. — Дёма.

— Что?

— Ты в него стрелял, чтоб он её не грохнул, или чтоб Павел увидел, как ты за неё стреляешь?

Медленно поворачиваю голову. Лёва смотрит в сторону сосен, лицо сухое, невыразительное, как у человека, который двадцать лет играет со мной в одну и ту же игру и научился задавать неудобные вопросы в спину, чтобы я не убил его сразу.

— В следующий раз, — говорю ровно, — думай, прежде чем такое спрашивать.

— Я и подумал. Поэтому спросил.

Молчим.

Затягиваюсь глубоко, и дым обволакивает нёбо, скребёт горло, а сквозь эту горечь пробивается запах чужого дома, пряной телятины с розмарином, туберозы, и совсем некстати снова всплывает тот тонкий лимонный след, что тянулся от её ладоней, когда я держал её пальцы в фойе. Руки у неё ледяные, такие же, как у всех, кого изнутри грызёт паника, знаю это с восьми лет.

— Она брата, — говорю вслух, пробуя фразу на вкус. Хреново.

— Угу, — отзывается Лёва невозмутимо.

— Что «угу»?

— Ничего. Соглашаюсь. Она брата.

— Соглашаешься ты, сука, как-то издевательски.

— Дёма, я двадцать лет рядом с тобой и давно научился на слух отличать твоё равнодушное «мне плевать» от того

самого «мне не плевать», которое звучит у тебя точно так же, а разнится только запахом. Сейчас от тебя привычным безразличием не тянет ни капли, зато отчётливо несёт мокрым порохом и той самой дурью, за которую батя когда-то ломал тебе рёбра.

Мой взгляд поднимается из-под ресниц на одну короткую секунду, и этой секунды хватило бы, чтобы за подобную фразу сломать челюсть любому другому, но Лёве челюсть я не сломаю, ведь именно поэтому он держится на полшага позади меня уже двадцать лет.

Страхиваю пепел в гравий.

— Павел ждёт разговора, — Лёва переводит тему сам, за что я ему мысленно благодарен.

— Пусть ждёт, сегодня разговор будет коротким. За форму я извинюсь, а по существу извиняться не собираюсь, потому что Родион вытащил ствол на его дочь в его же доме, я снял пацана с ноги за две секунды, и Павел должен целовать мне руки за то, что все живы.

— Так и скажешь?

— Именно так.

Смотрю в сторону дома. Одно из окон гостиной выходит во двор, и с моего места сквозь тюль виден край стола, спина Павла и её плечо: то самое, с приспущенной бретелью. Сидит очень прямо, будто её посадили на невидимый штырь. Ложка в её руке идёт ко рту на автопилоте. Ест десерт под отцовскую команду. Умная девочка.

Гашу сигарету о подошву, сую окурочек в карман, потому что бросать мусор в чужом дворе я не приучен.

— Лёв.

— Мгм.

— Что мы знаем про неё?

— Про Арину? — не притворяется, что не понял. — Двадцать один. Журналистика с международной. Танцы, современная хореография, студия у Крестовского. В прошлом году сбегала. Месяц её искали, нашли на юге, привезли обратно. С кем сбегала, Павел спрятал концы наглухо: до сих пор ни одна собака не гавкает. Панические атаки, наблюдается у психолога. Не пьёт, не курит, из тусовки золотой молодёжи выпала после побега. По слухам, парень был не из наших.

— Что носит под майкой на цепочке?

— Чего?

— На ней тонкая цепочку с чем-то. С чем?

Лёва хмыкает, отчего дым идёт из ноздрей двумя ровными струйками.

— Дёма, я тебе не экстрасенс. Не знаю. Крестик обычно бабы носят. Или сердечко от папы.

— Не крестик. И не папино сердечко. Она за него хваталась постоянно...

Лёва молчит.

— Хорошо, — Лёва вздыхает. — Узнаю.

— Только по-тихому.

— Понял.

— И, Лёва.

— Ну?

— Я хочу знать имя парня, с которым она сбегала.

Он молчит, намеренно растягивая паузу, и за эти вязкие секунды до меня доходит всё, что я упрямо отказываюсь признавать.

— Дёма, — тихо. — Она брата.

— Спасибо, — говорю ровно. — Я знаю.

— Дёма.

— Иди уже, Лёва. Скажи ребятам, через пятнадцать минут выезжаем. Я с Павлом переговорю, и в клуб.

Он гасит свою мятную дрянь и уходит прочь, оставляя за собой скрип гравия под тяжёлыми ботинками, а я остаюсь один под соснами.

Прикрываю глаза на секунду.

И до меня очень отчётливо доходит одна простая вещь про сегодняшний день.

Я стрелял не в кузена, а в самую мысль о том, что кто-то помимо меня вправе решать, будет эта жила биться дальше или замрёт навсегда. Стужевская горячая кровь, которую двадцать восемь лет вбивают в меня проклятием рода, сегодня сама взяла ствол и навела прицел, и материнское правило о том, что то, что любишь, однажды отворачивается, единственное, во что верю с четырнадцати лет, на секунду отвалилось от меня.

Открываю глаза. Смотрю в окно.

Арина поднимает голову и находит меня взглядом сквозь туюль. Секунда. Две. Её глаза расширяются, бретель на плече чуть подрагивает от того, как она дышит: коротко, часто, ртом. Медленно провожу языком по нижней губе.

Замираю на месте, не позволяя себе даже моргнуть, чтобы она успела привыкнуть к моему взгляду. Она первая опускает глаза, и я про себя ухмыляюсь её покорности: молодец, девочка.

Дорогие читатели!

Встречайте захватывающую новинку от

[Киры Хо](#)

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.